

Ольга Балла

Сразу после детства

Вадим МУРАТХАНОВ. Цветы и зола. — М.: Воймега, 2019. — 68 с.

Вопреки тому, что — неведомо на каком основании — обещает нам аннотация, новый, уже восьмой поэтический сборник Вадима Муратханова «Цветы и зола» уж точно не «наивная поэзия» и даже не «опыт обращения к ней». Внешняя сдержанность включенных сюда текстов — действительно способная иногда произвести (обманчивое) впечатление простоты и нередко (но тоже не всегда) в самом деле очень родственная детскости — не должна вводить в заблуждение. Это — опыт радикально отличного от наивности чувствования и выговаривания мира, не просто сложного, но осознанно-сложного, ожидающего от читателя сопоставимой по сложности рефлексии — и активной культурной памяти.

Начать хотя бы с того (хотя это тут не главное), что эти стихи полны внутренних цитат, отсылок, аллюзий. То есть представляют собой разговор если уж и не совсем с мировой литературой в целом — так широко лирический герой Муратханова, не ориентированный на активное самоутверждение, не размахивается — то, во всяком случае, с ближайшей культурной памятью своих собеседников-современников-ровесников, и не всегда с высоко-литературной. «Куда исчезла боль? Ищу её с утра. / Как сломанный прибор, молчит болевший орган...» — и тем, кому сейчас около пятидесяти, невозможно не услышать в этом песню из собственного детства — пронзительно-печальную, как казалось тогда: «Куда уехал цирк? Он был ещё вчера, / И ветер не успел со стен сорвать афиши...» А вот и другая песня из звукового фона детства: «Один лишь раз танцует лист / на сцене пасмурной аллеи...» — попробуй-ка не вспомни тут же, как «один лишь раз сады цветут...»

Впрочем, множество отголосков русской поэзии XX века — и ритмических ее отзвуков, что чаще, и почти-цитат, что реже — чуткое ухо здесь непременно расслышит: от Пастернака («Мне вчера явился Ерь, / за спиной — котомка. / Посидели с ним, поели, / выпили негромко» — «Пересекши край двора, / Гости на гулянку / В дом невесты до утра / Перешли с тальянкой»), Ахматовой («К работе его не привлечь, / молчанья его не нарушить. / Он любит пожатием плеч / насмешку свою обнаружить...» — «Умеет так сладко рыдать / В молитве тоскующей скрипки, / И страшно её угадать / В еще незнакомой улыбке») и Заболоцкого (тот «видимый», который «на кромке бытия / стоит, как подсудимый и судья, возносит голос и руками машет», — не напрашивается ли упрямо в родство к «бедному коню», который «руками машет, / То вытянется, как налим, / То снова восемь ног сверкают / В его блестящем животе») до Беллы Ахмадулиной (в том же стихотворении «бесчисленные люди-невидимки / Появятся — и растворятся в дымке» — и память тут же услужливо

подсказывает: «...друзей моих прекрасные черты / появятся — и растворятся снова») и Дмитрия Александровича Пригова (муратхановский «милиционер», который «у входа в госучрежденье / сидит неумолим и сер / с момента своего рожденья», может ли не иметь никакого отношения к приговскому «милиционеру?»), а пожалуй что, и до Бориса Рыжего, в стихотворении о «задумчивом рецидивисте», который, «о жизни прожитой жалея, / идёт по скверику, храним / дерев содружеством лицейским...» — и тут уже отзывается нам и сам Александр Сергеевич из своего XIX столетия. А ритмическая память подбрасывает и еще кое-что из того же позапрошлого века — но главное, из детства же, ну ведь не одной же мне читали на ночь тогда, доводя до отчаянной жалости к герою: «По синим волнам океана, / Лишь звёзды блеснут в небесах, / Корабль одинокий несётся, / Несётся на всех парусах»? И разве это не очертания лермонтовского «Воздушного корабля» — неожиданные, но такие узнаваемые! — проступают в стихах о судьбе сазана, о его предсмертном плавании?

Была ему набрана ванна.
Я к ней приближался с отцом.
Там тёмное тело сазана
лежало недвижимым пловцом.

Да, главное все-таки — детство. Вот оно здесь точно неспроста. Оно — действительно сильная, организующая всю книгу тематическая линия. Можно даже сказать — сквозная ее тема. Свою обращенность к накопленному культурной памятью автор даёт понять ещё прежде всякого начала, самым названием книги отсылая к Бодлеру. Автор предисловия к книге, Ольга Сульчинская, комментирует это так: «Кто вспомнит о Бодлере, поймет сразу, что зло обратилось в золу и речи о том, чтобы “хватать наслаждения”, не будет». Ну, речи о том, чтобы хватать наслаждения, не будет точно, а вот со злом куда сложнее. Так ли уж обратилось оно в золу — утратило силу, разрушилось? «Лирический герой» этих стихотворений (мне больше нравится слово «повествователь») постоянно чувствует его присутствие. Нет, не в себе самом (хотя и с этим, пожалуй, не так просто: не его ли, зла, представители проникают в самого говорящего в лице старости, разрушения, угасания, убывания жизни? — «Я кощей стареющий / с тридевойтой улицы»...), но уж точно рядом, постоянно рядом. Оно так и норовит вломиться в хрупкий повседневный мир человека, в его маленький космос — и рано или поздно, несомненно, вломится. Пока оно еще этого не сделало — хрупкость ближайшего мира можно и нужно заговаривать стихотворными ритмами; может быть, это вообще единственное, что держит мир в порядке — порядок речи, ритмичность индивидуального дыхания. А лучше всего — в ритмах:

От тяжёлых гусениц
спасу родную улицу.
Пьяница бульдозерист
на неё не сунется.
Не подъедет экскаватор
с многотонной гирею
покрывать мою кровать
штукатуркой с пылью.

Так уговаривает себя — и нас — повествователь, и мы понимаем: да это же на самом деле магия. Тем более властная, что — повседневная, упрямая, терпеливая, незаметная.

Магично само обращение к детству, к первосостоянию своего личного мира — которое критики, уже успевшие высказаться об этой книге, то связывают с «вечной невзрослостью» героя стихов (Евгений Абдуллаев), то называют «отчётливо ностальгическим» (Мария Галина). В каком-то смысле Муратханов и сам подсказывает

своим читателям такое решение, признаваясь прямо — ну да, не вырос, и не хотел, и на это были серьезные основания:

А если вдруг с небес Посол
за мной придёт, ему отвечу,
что только телом я прошёл
мою дорогу человечью,
что, получив отца и мать,
сестру и дом в глубоком детстве,
я их боялся потерять
и предпочёл стоять на месте,
что мой покой они хранят
ещё и ныне от соблазна, —
и он, нежившего, меня
оставит до другого раза.

Ностальгичны эти стихи, однако, в точности в той мере, в какой ностальгично любое осознание того, что жизнь стремительно уходит и что она — драгоценна.

Тексты в «Цветах и золе» — тихие, осторожные (чтобы не заглушать мира дерзостью и громкостью своих высказываний «на человеческом языке»). Но уж никак не наивные, даже при том, что внешне действительно часто очень похожи на те стихи, которые встречали нас в начале жизни в детских книжках, задавая изначальные ритмы восприятия мира. То есть — коренные, архетипические, лежащие в основе всего остального.

Если вдруг меня застанут
на чужом заборе,
будут думать обо мне
как о взрослом воре.

«Детские» стихи Муратханова вызывают эти ритмы из глубины — на поверхность, чтобы придать миру устойчивость. Ту самоочевидность (значит — предположительно — неуничтожимость), которой мир обладал в детстве. Ведь чем отличается для человека положение вещей, которое он застал при своей встрече с миром? — Тем, что оно единственно возможно. Оно совпадает с самим естеством. Оно не может измениться. Таково — всё, бывшее в детстве, даже сиюминутное и случайное.

Я с ёлочки в окно гляжу
И вижу за машинкой маму.
На телевизор бабушка кивает головой,
не одобряя давнюю рекламу.
Рассказывает случай о работе
отец, размахивая длинными руками.
А мне на них смотреть
смешно и грустно.

Правда, осознается вечность и неизменность всего этого по-настоящему тогда, когда оно пройдет — чтобы все время возвращаться. И видится вот так, «с ёлочки».

Старость начинается
сразу после детства, —

когда оно начинает видиться извне и человеком завладевают перемены и убывание.

Да и в конце-то концов — помните стихотворение о Небесном после, который не забирает тех, кто еще не истратил себя вполне на взрослую жизнь? — обращение к детству ведь не что иное, как противостояние смерти. Один из, наверное, простейших его способов.

Так что сквозные, организующие темы у книги, на самом деле, две — неразрывно родственные друг другу: детство и смерть.

В первообразах и первообразах детской поэзии Муратханов выговаривает трагичность удела всего живого. Кто из читавших в детстве по-русски не помнит бычка, который «идёт, качается, вздыхает на ходу»? Это ведь стихотворение — с дошкольного детства помню — отчаянно грустное: о предчувствии поражения. «Ой, доска кончается, сейчас я упаду». Муратханов идет еще дальше, подводя своего бычка — не тот ли это бычок, о котором мы читали тогда, только, как мы, уже выросший? — к поражению совсем окончательному:

Вдруг, без подготовки,
прямо в полдень знойный
взяли за верёвку,
повели на бойню.
Он — голову кругами,
ссорится со всеми.
Он глядит рогами
далеко на север.
И хвост его болтается.
А там — металлов скрежет.
Для чего бодается?
Всё равно зарежут.

Что же до «цветов» и «зола», это, думается мне, — о двух состояниях всего сущего, о двух полюсах: о том, что живо, трепетно, уязвимо, недолговечно, — и о том, что уже сгорело. О настоящем и прошлом в их неразделимости. Совсем просто: о жизни и смерти. Это они — участницы создающего книгу постоянного внутреннего диалога-спора. И первая его участница всегда помнит о том, что победит непременно вторая, — оттого эти стихи, по большей части, печальны — даже там, где говорят о радостях жизни и о благодарности ей:

Когда снаружи снег и стужа,
Я трубку душа не спеша
снимаю в ванной, чтобы слушать,
как жизнь тепла и хороша.
И струек ласковые сети
я ощущаю на виске.
И не дерзаю им ответить
на человеческом языке.

Это — первое стихотворение из тех двух, что заключают основной корпус стихов между собой, как в раму, — предшествующее книге как таковой, оно задаёт ей основные интонации. А вот последнее, которое, уже из-за пределов закончившейся книги, на неё оглядывается: та, которой назначено было победить, — действительно победила:

В заброшенном корпусе ржавчина, сырость,
разбитые стёкла и грязь...

...однако, о, чудо, — над нею снова торжествует жизнь, пока ещё хрупкая, чуждая прежней жизни, преодолевающая её:

Но прямо на крыше загадочный вырос
росток, никого не спросясь.
Он будет тянуться ещё много лет,
рассеивая семена, —
и значит, там скоро появится лес
на будущие времена.

Смерть того, что нам привычно и обжито нами, обещает «на будущие времена» жизнь новую, «загадочную», непредставимую отсюда. И это — не только о прорастании юного растения на крыше погибшего завода: взгляд идёт гораздо дальше.

В этом стихотворении-итоге (бывают итоги открывающие и закрывающие; этот — открывающий) автор заглядывает не только за пределы книги — за пределы и собственной жизни, и собственного времени: «*Когда на земле воцарится раздор, / и скроются рыба и зверь, / и Красную книгу за чёрным дроздом / захлопнут, как тяжкую дверь*» (кстати, о цитатности: не идёт ли тут на ум сразу же: «Когда пробьёт последний час природы...»?) — «*когда наши детские игры остудит / последний и праведный суд...*»), и нашего способа существования вообще, в области инобытия, пытаюсь угадать, что будет там, «*где нам и не снилось, где так не бывает, / где лишь удивись и замри*».

Ничего себе «наивность».

«Он — зритель, а не деятель природы», — говорит о лирическом герое Муратханова Евгений Абдуллаев. Еще какой деятель — и природы, и самого бытия: он их оберегатель.